

НИНА ДАШЕВСКАЯ

ИРКА:

СКЕТЧБУК

Москва



Самокат

Утром бывает небо синее. Всего несколько минут — совсем особенный цвет, главное — не пропустить. Выключить свет на кухне — тогда и увидишь: на улице, внизу, темно, а небо синее. Пронзительного, густого цвета. И по нему плывёт белый-белый дым из трубы электростанции. То есть Пашка говорит, что это никакой не дым, а пар. Но мне нравится слово «дым», оно теплее.

Цвета неба и дыма кажутся неестественными — слишком яркими. Как в фотошопе.

Отвернёшься заварить чай — и всё заканчивается: небо голубеет, дым становится серым и тяжёлым. Обычным. И тогда окончательно наступает утро, и надо бежать.

Я люблю Ван Гога. Он сейчас безумно популярен, как голливудский актёр, и все знают: о, Ван Гог! И носят его картины на футболках. Сумки с Ван Гогом, зонтики.

Я бы никогда.

Я его люблю не как все. Я вижу: он понимал в цвете. И ничего не боялся.

А я боюсь. Я трусиха, и это никогда не изменится.

Поэтому я рисую ручкой, только чёрной гелевой ручкой — и никак иначе. В детстве я любила, конечно, краски и кисточки. Но это было вообще не рисование, а детский сад.

Всё-таки очень мешает, когда любимого художника любят все.

Пашка, например, раньше любил поэта Бродского. И у него на полке стоял портрет, с котиком. Бродский с котиком. Пашка не боялся, что его засмеют. Он никогда ничего не боится.

И вывешивал у себя на стене: «Не выходи из комнаты».

А теперь это, считай, попса. Все знают «Не выходи из комнаты...», будто других стихов больше нет. И фотографию Бродского с котиком все знают.

И Пашка его фотографию убрал. А может, не из-за того, что все. Может, просто разлюбил. Бывает.

Пашка ушёл — он учится в далёкой умной школе и убегает раньше. Я стою у окна и смотрю на небо.

— Ирка! Опять застыла, да что же это! Опоздаешь! — переживает мама.

— Я всё успеваю, — говорю я.

— А постель? А на столе завалы? Что за привычка просто так стоять, откуда ты время берёшь! Бутерброд сделала себе? Опять будешь голодная весь день!

Всё, всё — включается свет, да и небо уже не такое, обычный серый рассвет. Куда девается этот синий, интересно?

Как объяснить, что иногда есть вещи поважнее бутерброда.

— Ладно, — говорит папа, — на небо тоже смотреть иногда полезно. Всё лучше, чем в телефоне сидеть.

Папа у нас миротворец. Только думаешь — сейчас будет взрыв! — а тут он бомбу накрывает мокрой тряпочкой. Фитиль гаснет, и бомба не взрывается — или как там у бомб все устроено.

А так папа прав.

Когда у меня только появился телефон с интернетом — я не могла из него вылезти, всегда хотелось что-то ещё посмотреть. А теперь уже нет, прошло.

* * *

Тогда Пашка пришёл из школы, и я поставила для него греться картошку. И сидела там, на кух-

не — чтобы не забыть выключить. С телефоном, конечно.

...А потом прибежал Пашка с одним наушником в ухе и светлыми глазами, выключил газ и открыл форточку — всё уже было в дыму. Потом он аккуратно выбросил картошку с грибами в мусор. То есть бывшую картошку с бывшими грибами. Залил водой сковородку и поставил новую кастрюльку с водой — варить пельмени. Слова мне не сказал. Только посмотрел — у него от злости всегда глаза светлеют.

Мой брат очень любит картошку с грибами. И маме ничего не сказал, не сдал меня.

Пельмени, конечно, тоже вкусная вещь. Но в тот день я удалилась из «Вконтакте». Правда, через четыре дня опять вернулась — но уже не так. Потому что за эти дни я научилась смотреть на небо — в одно из таких утр я впервые увидела этот синий цвет.

* * *

Мы с Пашкой живём в одной комнате много лет. Комната большая, перегороджена стеллажом с книгами — и мне досталось окно. Потому что я рисую, и у меня очки. Мне вроде бы как больше свет нужен; а Пашки всё равно дома никогда

нет. Но мне перед ним неудобно: из-за меня он без окна.

Мой брат живёт через книги от меня. Раньше он снимал со стеллажа несколько книг, и между нами получалось окошко. Давно это было. Я один раз попробовала опять: вытащила толстую энциклопедию и смотрю, как он там по-турецки на кровати сидит и щёлкает в своём планшете, пишет кому-то. Вдруг увидел меня и рассердился: «Не мешай!» Чем я только ему мешаю?

* * *

В книгах всё время что-то происходит. А у меня обычная, неинтересная жизнь. Нормальная школа. Я читаю, как иногда людям достаётся в школе, — у нас такого нет. Никого не травят, не бьют, не унижают... Ну, правда, никто и не спросит, как дела. Потому что все сами по себе, никто ни с кем особенно не дружит. Девчонки иногда ходят по двое, по трое; но так. Это не дружба. А мальчишки все по одному. Разве что Диксон всё время с Тарасовым, прилепился, как банный лист.

Зато нет вот этих ужасов, про которые я иногда читаю. Например, у нас в классе есть маленький Миша, у него уши как у Чебурашки, и очки детские, с загибающимися дужками. Миша этот

отличник, математик — везде со своими умными книжками ходит. В другой школе, наверное, ему не было бы житья. А у нас и дела никому нет — ну, очкарик, ну, маленький, ну, читает. И пусть себе читает. Ему даже прозвища не придумали — Миша и Миша.

Прозвище есть только у Диксона, да и то это не совсем прозвище.

А учителя у нас хорошие, особенно по математике и истории. Мне нравится, как они говорят, интересно. Хотя по истории у меня всегда четвёрка, я никогда даты не помню. Ну и что: всё равно у нас хороший учитель, и никогда он мне не скажет, что я тупая. В общем, таких ужасов, про которые я читаю, у нас нет. Всё нормально.

И семья у меня нормальная.

Вот, скажем, другие жалуются: родители их не понимают. Воспитывают, например: нечего рисовать, займись делом, двойку исправь, потом рисуй, всё равно только бумагу переводишь. А мой папа — наоборот: всё время говорит, чтобы я рисовала красками. Что у меня чувство цвета, что нечего всё за Пашкой повторять: он рисует только ручкой, и я тоже. Что раньше у меня были настоящие рисунки — когда я была маленькая и ничего не боялась. А теперь — так, как у всех.

А потом бац — у меня на столе появился уголь. Настоящий уголь, как у художников. А потом ещё папа мне купил тушь. И кисточки.

Тушью я так и не научилась, но мне нравится, что она у меня есть. А углём иногда пробую. Правда, получается очень плохо.

И на Новый год мне папа подарил перьевую ручку. Вот кто бы ещё догадался!

Как можно жаловаться на родителей, если папа говорит: рисуй красками. А потом покупает тебе перьевую ручку!

Перевой выходит гораздо лучше, чем гелевой. Кстати, у Пашки не получается — он просил у меня, потом всё изорвал и бросил. Потому что он псих! Хотя что-то я могу лучше него.

Зато у него есть в башке, что рисовать. И что писать. А у меня ничего нет.

Я вот читала про Ван Гога. Какая у него жизнь была. И у других тоже — всем было трудно, тяжело, просто ужас, а не жизнь!

А у меня всё хорошо. Ну, нормально. Обычно.

«Чего тебе, — говорит Пашка, — нужно, чтобы война была? Или хотя бы землетрясение? Может, тебе заболеть и ослепнуть, например? Да? Хочешь — палец себе отрежь, кровящи будет!»

То есть это не настоящий Пашка говорит, а воображаемый. Я так иногда с ним разговариваю.

Нет, конечно — ничего такого я не хочу.

«Так вот, это называется — счастливое детство. Поняла? И не жужжи! Конфликтов ей захотелось! Хочешь, подерёмся?»

Ну да, Пашка, у меня счастливое детство. Я не жужжу. Только мне хочется чего-то ещё. Тогда, может, я смогу рисовать. Получу моральное право. А ничего не происходит.

* * *

Мне повезло: я живу у реки. Она всегда разная, особенно зимой. Ближе к тому берегу во льду пробита дорога, по ней идут теплоходы. Странно, наверное, кататься на теплоходе зимой, во льду. Грустно. Дорогу делает ледокол — теплоходы слишком нежные для этого. Ни разу не видела ледокола, так хочу посмотреть!

Бывает, лёд вскрывается до самых берегов, в воде плавают большие льдины. Однажды я шла вечером, и на чёрной воде льдины лежали такими пятнами, как шкура леопарда. А потом я спустилась к самой воде, на причал. И вижу: в воде отражаются огни всего города, и фонари, и фары машин, и окна домов. И кажется, что под этими льдинами внизу, на глубине огненный город — переливается расплавленным золотом. А сверху пятна льдин, как облака.

Если идти и смотреть — город там, внизу, движется. А льдины неподвижны.

Вот странно — ведь есть течение, почему они никуда не плывут? Застыли.

Сфотографировать нельзя, темно. Нужна профессиональная камера. И нарисовать нельзя — как такое нарисуешь?

Так никто и не узнает, как это было красиво.

Зима красивая вечером, когда фонари. А днём иногда идёшь и думаешь: хорошо было Ван Гогу. Вокруг него были цвета. Попробовал бы он так рисовать в нашей средней полосе.

Тушь и уголь, нечего и думать о красках. Для тех, кто умеет, конечно. Я пока ручкой обхожусь.

* * *

Я как-то Пашке это сказала. Что если вокруг всё время зима, то что рисовать?

А он голову поднял и говорит:

— Лейтенс.

— Чего?

— Гейсбрехт Лейтенс. Мастер зимних пейзажей. Погугли на досуге.

И я посмотрела. Точно, мастер зимних пейзажей. Голландец, родился в шестнадцатом веке.

И вот этот его зимний мир какой-то фантастический: деревья сумасшедшие. И мельницы.

И совсем не серо и уныло, совсем нет.

Причём летние пейзажи тоже есть, Голландия не такая уж и зимняя страна, но летнее — не то. Наверное, что-то такое происходило в голове этого Лейтенса именно зимой. Деревья в инее и ледяное море. Хотя больше всего мне понравилась картина как раз без деревьев, слишком они страшные. Там лодка и маленький кирпичный домик. И мельница вдалеке. И люди. И мне туда захотелось, к ним.

Я спросила — откуда Пашка его знает?

— Были в Эрмитаже с классом. Толпой, знаешь, бесполезно ходить: я ничего не увидел и не запомнил толком. А потом уже на выходе смотрю — вот это. И зацепился, запомнил. Никому не сказал, чтобы только моё.

* * *

Пашка пишет роман. Или не роман — не знаю, что он там пишет. Если бы у него была тайная тетрадь, например, и я бы её случайно нашла... Но он пишет только в компьютере. Сидит по-турецки и чего-то пишет. И не поймёшь! Если ты в компьютере, всегда можно сказать — уроки.

Доклад, проект... Но я точно знаю — Пашка пишет роман, у него лицо такое сразу делается. Нешкольное.

Никогда мне не узнать, про что. То есть, конечно, потом, когда он станет знаменитым и этот роман будет во всех книжных магазинах, — тогда да. Но до этого он не покажет. А спрашивать нельзя, я точно знаю.

Мне достаются только Пашкины рисунки — валяются везде, он их рвёт или просто комкает. Я собираю и клею...

У меня есть тайная папка, где я храню всё Пашкино. Он рисует только чёрной ручкой; как будто реальность, но такая... компьютерная. Скажем, обычный человек в пальто. А в животе у него дыра, и там видно кирпичи разломанные — будто человек состоял из кирпичей, и в него снаряд попал. Или другой человек сидит на скамейке, смотрит в телефон. А ноги у него — это не ноги, это корни! Он ими в землю врос.

Я пробовала тоже такое рисовать — у меня не получается. То есть получается, но видно: девочка рисовала чужое.

Я вот этого девчоночьего терпеть не могу. Поэтому никогда не рисую, например, аниме — у нас все девчонки в школе так рисуют. Все, кроме Тони.